

ФЕЛЬЕТОНЪ.

Наши журналы.

«Три года», рассказъ г. Чехова. — «Монологи», очеркъ г. Баранова).

Въ февральской книжкѣ *Русской Мысли* оконченъ рассказъ г. Чехова «Три года». Мы говорили уже о немъ въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ, и знакомы въ общихъ чертахъ съ главнымъ героемъ рассказа Лаптевымъ, жалкимъ нытикомъ, слабымъ, безвольнымъ существомъ, какой-то старой тряпкой изъ бабьяго платья, а не мужичиной. Мы застаемъ его теперь женатымъ. Онъ все больше и больше убѣждается, что жена его не только не любитъ, но нѣмаетъ къ нему даже просто органическое отвращеніе, и ничего не можетъ предпринять; у него не хватаетъ характера. «У меня, — говоритъ онъ про себя, — трусливая совесть, и я никакъ не могу приспособиться къ жизни, стать ея господиномъ».

Такъ развѣ-жъ могъ такой человекъ предпринять что-либо рѣшительное, определенное? Нѣтъ, конечно, и винить его въ этомъ нельзя.

Что-же, однако, порождаетъ у насъ этихъ «героевъ безвременья», гдѣ тѣ общественныя условія, исполншія и искоренившія ихъ?

Отвѣты на эти вопросы даетъ намъ самъ Лаптевъ, объясняя свое безволие тѣмъ, что онъ былъ вѣнкомъ раба. Братъ его, такой-же нервно больной, написалъ статью въ духѣ г. Розанова, въ которой доказывалъ, что намъ «русскимъ, православнымъ, широкимъ людямъ» не въ лицу всѣ эти «нѣмецкія и жидовскія идеи», и принесть похвастаться ею передъ Лаптевымъ. Въ разговорѣ онъ, между прочимъ,

упомянулъ, что «мы молъ, съ тобой не проквосты какіе нибудь, а представители именитаго купеческаго рода».

Этого было достаточно, чтобы окончательно вывести изъ себя Лаптева.

— Какой тамъ именитый родъ? Драный родъ! — крикнулъ Лаптевъ въ сильномъ гнѣвѣ и швырнулъ стулъ въ камину. — Драный, хамскій родъ! Дѣдъ нашъ уже не былъ крѣпостнымъ, но мнѣ за достоверное извѣстно, что помѣщики его драли, драли... и каждый послѣдній чиновничикъ билъ его въ морду. Отецъ дралъ дѣдъ, меня я тебя дралъ отецъ. Драный, поганый, подлый родъ!.. Что намъ съ тобой дѣлать этотъ твой именитый родъ? Какіе нервы и какую кровь мы получили въ наследство? Ты вотъ уже почти три года разсуждаешь, какъ дѣлать, говоришь всякій вздоръ и вотъ написалъ, — вѣдь это холерскій бредъ! Я, я, а я? Посмотри на меня... Какъ моллюскъ, мозглякъ какой-то, ни гибкости, ни смѣлости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шагъ, тошно меня выпорять, я робѣю передъ ничтожествами, идиотами и скотами, стоящими неизмѣримо ниже меня умственно и нравственно, я боюсь дворянковъ, швейцаровъ, полныхъ дамъ, а за границей я хожу, какъ виноватый... я родился отъ заглавленной матери, съ дѣтства я забитъ и запуганъ... Мы съ тобой хорошо сдѣлаемъ, если не будемъ имѣть дѣтей. Нами долженъ кончиться этотъ родъ, иначе, — и я въ этомъ глубоко убѣжденъ, — въ слѣдующихъ поколѣніяхъ мы дадимъ только трусовъ, преступниковъ и сумасшедшихъ!».

Итакъ мы присутствуемъ при вырощеніи рода Лаптевыхъ подъ вліяніемъ тяжело сложившихся общественныхъ условій: сначала крѣпостное право, драбле на конюшняхъ, потомъ тяжелая, смрадная атмосфера купеческаго

міра, этого «темнаго царства», съ ужасами котораго мы всѣ, конечно, хорошо знакомы по комедіямъ Островскаго...

Но вѣдь не всѣ-жъ представители современнаго намъ поколѣнія нытиковъ ведутъ свое начало отъ крѣпостныхъ рабовъ и воспитывались подъ свистъ розогъ? — Отчего-же и она страдаютъ безволиемъ, гибнутъ, вырождаются... Мы говорили уже, что когда изсякаетъ живой источникъ энергичной общественной мысли, когда человекъ силою вещей обрекается на одиночество, на бездѣятельность, когда только страхъ одинъ царитъ надъ общественнымъ сознаніемъ, всегда въ такіе моменты наступаетъ эпоха муравейника, гдѣ копошатся Лаптевы и имъ подобные. Лучшимъ подтвержденіемъ этого можетъ служить прекраснѣйшій очеркъ г. Баранова — «Монологи» въ февральской книжкѣ *Русскаго Богатства*. Здѣсь передъ нами также человекъ интеллигентный, врачъ по профессіи, подававшій во дни студенчества большія надежды. И что-же? Попадаетъ онъ въ какую-то глушь.

«Ни битвы, ни стычекъ крупныхъ тутъ не было, даже крупныхъ неприятностей почти не случалось, а все такъ что-то, какія-то мелочи». Но эти мелочи и губятъ человека; они обхватываютъ его со всѣхъ сторонъ, затягиваютъ тысячами рукъ въ свою тину и ни за что не выпустятъ уже свою слабую жертву... И что всего хуже, эта побѣда достигается ими не сразу, а постепенно, въ теченіе многихъ годовъ. Незамѣтно, одна за другой подпрыдываются они въ оплошавшей жертвѣ, и также незамѣтно толкаютъ ее въ пропасти, и только когда она чувствуетъ, что уже летитъ туда, въ жертвѣ просыпается сознаніе гибели. Но бываетъ и такъ, со слабыми безвольными людьми. въ родѣ Лаптева, которыми такъ

„Касний“ (Баку), 1895. 25 марта. № 68, з. 3.

богата русская интеллигенция, что па них находят минуты просвещения, они терзаются, мучаются, начинают пить, сначала рюмку, другую, пока не спиваются окончательно. „По прощенью, по будничной головке старина-то дрожжи из тебя выдыхаются, старина то основы в душе вытраиваются, пока там не останется какая-то мразь.. А ты поди думаешь,—говорит герой „Монологов“,—что пришел человек да так, что сбухты—барахты, и залезь с радостью в это болото вместе с ногами?... А знаешь-ли, сколько невыносимых минут пережито вот в этих самых четырех стенах? Знаешь-ли, какая эта мука—в минуты просвещения... а такие минуты бывають, не все же мы пьем... каково в такие минуты сидеть, как зараза, словно гангрена, все больше и больше разъедает твою душу? Знаешь, что значить видеть, как оттуда отрываются лучшая чувства, лучшая побуждения оплошались навсегда?..“

В такую именно минуту и застаем мы героя „Монологов“. В нем проснулось сознание, что его загнало в болото пошлости, и из пьяной груди его вырываются вопли отчаянья... „Дайте, дайте мне мою молодость! Верните мои золотые годы!.. Ах если-бы это было возможно, я побжал-бы пенчался назад, я ухватился-бы за эти уходящие безвозвратно годы, вцепился бы в них обеими руками—и остановил-бы ее ужасный ход... Я хочу жизни, молодости...“

Но не вернется она, не воскреснет молодость с ее золотыми мечтами.

Что погало, тому не воскреснуть,
Что прошло, не вернется назад.

И герою „Монологов“ только и остается плакать жгучими слезами, мшшая их с водкой.

„А, я вот, возьму, хлосну рюмку—вот, вам и идеаль“.

И сколько таких людей разбрса по лицу земли Русской! Добры они, честны, благородны, есть у них и высшие запросы ума, попадаются между ними даже люди с талантом, но нет в них способности и силы противостоять жизненной прозе и пошлости, не могут они, потому что слабы бороться с жизнью, и вот одни из них пускают себя пулю в лоб, а другие, как герой „Монологов“ кончают тем, что прибгають к спасительной водке. При чем-же тут крепостное право, тяжелые нравы купечества, розги, побои?

Они искалчили Лаптева, но героя „Монологов“ погубило нечто другое—пошлость, бездейность нашего захолустного обывательского существования.

В конце концов, конечно, все это можно свести к одному—к полному отсутствию воспитания воли. В самом деле, где и когда, при каких условиях, Лаптевы и герои „Монологов“, словом, огромное большинство нашей интеллигенции, могли учатся проявлять свою энергию, свою деятельность, развивать свою волю. Кончают она университеты, выходят юристами, врачами, учителями, и сейчас-же начинают тянуть обезпеченную линию чиновников; никакой борьбы от них не требуется, напряжения сил тоже; знают они, что каждый месяц принесет им „двадцатое“ и покойна душой. И так тянутся годы; они стареють, умирають; на смену им идут дети и снова новоторають ту-же сказку про благо бычка. К чему тут воля? Оттуда она возьмется, когда и спроси то нет на нее. Мышцы без упражнений становятся вялыми, дряблыми; каждый

орган, перестающий функционировать, атрофируется в конце концов. Таков биологический закон. Подчиняется ему и воля человека.

Удивительно было-бы поэтому, если-бы вместо Лаптевых литература подносила нам людей с сильными страстями, с могучими желаниями. Герои Чехова не могут даже веселиться, наслаждаться жизнью. Нет в них ни энергии, ни почва, ни способности действовать и переносить страдания. Все так измучало, оплошало в них; только и могут они предаваться „нигилизму“, пить без конца и также без конца пить водку, заливая ее своими жалкими слезами. И все это потому, повторяем, что воля атрофировалась в них, за познание почти бездействием своим. Частная и общественная жизнь нашей интеллигенции в большинстве случаев всегда текла по заранее установленному руслу; все в ней было определено заранее; она не нуждалась в творчестве интеллигенции, в ее почве, в ее энергии, обходясь прекрасно без всего этого. Обыватель мог, таким образом, преспокойно спать себя, не заботясь ни о чем на свете, и он проспал свою силу, свою энергию.

Она стала дряблой, вялой, как тряпка. Но стоило такому обывателю просвѣтиться съемом науки, сознать всю пошлость своего слабости, чтобы получился из него либо незрелый Лаптев, „запавший“ человек, либо герой „Монологов“, свившийся с круга.

Все это понятно, логично, одно из другого вытекает неизбежно, и иначе быть не могло...

Альфа.